

АНДРЕЙ АНТИПИН



## СМОЛА

РАССКАЗ

В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой преломится как-нибудь так исключительно, что отпотеет и прожжёт мёрзлый слежалый снег небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом сером щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг “вспыхнет”, вдруг “заиграет”, вдруг “загорится” морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной листовничной смолой. И такая она делается янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через неё — всё равно что приблизив к глазам луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесёт ветром, снегом, рваным печным дымом — и снова ветхий забор, шершавые от вгрызшейся пыли доски, сплошной мёртвый хлам. Но ты-то знаешь, что это не так.

Об этой доске со смолой я думаю, когда на реке вижу Пузырька.

Пузырёк — мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими уделами ленские крестьяне, промышленявшие зимой налимов, и из года в год эти речные границы строжайше соблюдали, а когда оставляли своё ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим владельцем или на правах наследования, получали реку в виде своеобразных угодий, размежёванных незримо, но зато и незыблемо. Из числа местных мужиков та-

---

*АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется в журналах “Наш современник”, “Москва”, “Юность”, “Сибирь”. Лауреат журнала “Наш современник” (2010), премии имени И. А. Гончарова (2015). Живет в Иркутской области.*

ких властителей сопредельных рыбацких территорий теперь несколько. О Пузырьке следует сказать особо. Сперва, конечно, о его прозвищах, которых три. Основное — Пузырёк — потому что занимает на водку одной и той же фразой: “Выручай на пузырёк!” Суслик: это смалу и порядком забылось, а пошло, скорее всего, от физических признаков. Но самое комичное — Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя Милентий, ядовитый на язык рыбак, да к тому же выдвинул гипотезу, что в детстве Черномырдин ел дерьмо — отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прёт с реки рюкзак, будто набитый мягкими поленьями, поневоле взмолишься: “Да хоть бы ты загулял!” Чтобы понять, почему от Пузырька ждут, что он запыёт и заморозит крючки, надо вспомнить его жизнь.

После армии он, как почти все деревенские, работал в совхозе, и даже была напечатана в районке фотография, на которой молодой Пузырёк и другой наш мужик, Валентин Михайлович (которому под этот Новый год откромсали ногу), поднимают в честь конкурса пахарей Трудовое Знамя с профилем Ленина на остром от ветра треугольнике. Хорош ли, плох ли был Пузырёк как пахарь, теперь неважно, а всё же худо ли, бедно ли, но корпел за общее дело, скорее всего, и не подозревая об этом, а всё-таки жил и трудился — да, детально в основном, безжалостном к деталям, механизме, но, верую, лучшей деталью, одной из тех, которые ни сами не сбились, ни других не раскачивали, а, наоборот, изо всей мощёнки крепили весь механизм и не давали ему сокрушиться, и было это незаметное, но великое и мучительное подвижничество, каким от роду родов стоит русская земля. Из тех лет, когда Пузырёк был ей нужен, на памяти только то, что этот маленький невзрачный дядька с тонкой шеей, похожий на беспутного подростка, которого вышибли из школы, едва ли не всегда ходил с оплывшим, как раздавленная сливовая мякоть, синяком под глазом, потому что кто-то неведомый раз за разом стрелял в него с плеча. Стали, что ли, в сеялку зерно насыпать, да Пузырёк выронил мешок, или кого-то перешил в честь красной даты, кого перебивать нельзя, и этот, кого перепили, оскорбился, полез бодаться. И мужики, черги, не мешали, обступили кругом и глазели, а кто-то, наверное, запрыгнул на ГАЗ-53 и комментировал. И Пузырёк, чтоб не упасть в грязь лицом, тоже стрелял, но кулаки были мягкие и ватные, парусили по ветру... Так они жили-были: то пашут не за награду, то пьют до упаду, а то пластаются за комбайнами. Стоят на общем снимке в обнимку. Потом сама Москва выстрелила залпом, и мужиков разбросало. Один мёртвым остался, второй в город смотался, а третий залёт на дне воронки и время от времени высовывает на палке шапку: не перестали бить по своим?! Шапку сбивает ветром.

Нынче жизнь Пузырька такова: всё он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, о чём, как водится в деревне, — многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он не шатается по посёлку, а проворно обегает его из конца в конец, иногда не по разу за день, и всё равно что-нибудь да смышляет. Кленаешь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, встал через миг, а тут — глядь-поглядь! — Пузырёк! Навалился на штакетник, как только подошёл. На самом деле он уже давно наблюдает, только ты его не замечал. Сейчас спросит двадцать рублей! Он всегда просит на “Боярышник” — ни больше, ни меньше. Глаза мутные; рот накость; ворот свитера распялся и видно бледно-красное, как у оппанного гуся, горло, всё в пупырышках и морщинах. Жалко его, и зло берёт, и надоед хуже горькой редьки, но и отказать нельзя, сославшись на отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли всё, чем они жили, а жить по-другому они не умеют. Тебе легче. Ты сподобился, как паршивый пёс у булочной, который сунул нос в приотворённую дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит! Этим людям так нельзя, они гордые. Они и просят от безысходности, а то бы и век тебя не знали. И вынесешь, и сам подашь в руку. “Чтоб отвязался!” — сужаешь область боли. И скорее выводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырёк всё-всё поймёт, сожмёт мелочь в кулаке и, ничего не сказав, на всех парах к магазину, но, зайдя за угол, с тревогой пересчитает. Всё точно, шире шаг! Но это недоверие к то-

му, кто выносит, эта нелюбовь к дающему не из-за чёрной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги, несмотря ни на что, есть, кто призывает рабочего к станку, крестьянина — к сохе, а сам, курва, жил несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он поправил очки и преспокойно вынул из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, он, конечно, пропьёт, но не в этом дело.

Отгёртый на обочину, Пузырёк спасается, как может. Сын с дочкой в городе при грошах; жена на пенсии, а ему не вышел срок. Скот он, как и большинство в посёлке, давно зарезал: на всё рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же комбикорма — тридцать, в район — тридцать, в районную деревню — ещё тридцать... В копейку! Из прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырёк нанимается на пилораму. Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрёстке возле сельсовета, ждёт вахтовку. И уезжает на весь день. Вечером, отжатых, молчаливых, их высаживают тут же до следующего утра. Но дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делянами, а когда производство застаивается, командируют народ по домам, чтоб не платить даром. И надолго Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет, так он отвяжется. Или лучше на реке будет, а то в лесу. В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, переживает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была обнаружена недоимка. Собачонка при нём на вооружении, тоже прошитая и прокуренная, всю дорогу выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берёт на себя. Топнешь — показывает Пузырьку, куда убегать. Пузырёк не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землёй, в отливающих синевой раковинах и с налившими хвоянками. Весел по случаю, козырёк сползшей на уши бейсболки задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой подвёрнуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленами — во всём Пузырёк мал. С удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую душку пус-того ведра.

О том, о сём:

— Рябчиков-то видал?

— Нет.

— А я спугнул выводок! Надо завтра с пулемётиком прошвырнуться...

Вечером едет на мотоцикле “Иж-Планета” с дощатым коробом вместо коляски, упразднённой за ненадобностью, кончик титанового советского спиннинга раскачивает огромная тяжёлая блесна, подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них нечего. Всё равно что сжигать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный — механизированный, с социалистической размахкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдёрнет с короба брезент, а под ним — сморщенная надувная лодка и китайские сети... На рассвете, жёлто горя фарой, спешит проверять, на всякий случай — тоже для понта, да и затем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, которого на два пальца в баке, — везёт в коробе пару алюминиевых флаг под воду. Перед спуском под угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк — флаги... Иногда случаются проколы: завоет в тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, щетину тальников, мерцающую от капель сеть и пересравшего мужичка в резиновой одноместке, и вот уже, бросив концы в воду, Пузырёк шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребающих реку маленьких пластмассовых вёсел, а за ним тем энергичнее — катер государственной рыбинспекции...

С замерзанием Лены Пузырёк переключается на уды. У него два участка — по оба берега. Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые наследовали эти берега ещё от отцов, а те от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому что это время срыло всех: и сильных, и слабых. И Пузырёк колотится один, как исчисляющий последнее исконное метроном. Сообщить, что он выходит на лёд первым, будет мало. Он и живцов запасает прежде всех, ещё ранней осенью, по открытой воде, зачавствив сквозь облетевший ольшаник на речку Казариху. Там, в тихих заводях, высланных жёлтыми листьями, он караулит корчажкой гольянов — небольших рыбок из сорных пород, с краплёной синевой на боках, с чёрной или светло-коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на угор и ждёт, когда сплынутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни три-четыре, учитывая потери, неизбежные при хранении. И всё равно не хватает, в феврале или марте снова спешит на Казариху, дырявит лёд промёрзших ям. Но до этого ещё далеко, а пока шуга дёрнулась раз-другой... и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырёк скорей на лёд! Из-за спины, словно огромные стрелы из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки с привязанными крючками. Назавтра с утра на реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловаются, а “идут”. Пузырёк, проверив крючки и переменяв одежду — шубенки на варежки, ушанку на “пидорку”, драные бахилы на парадные суконные боты системы “прощай, молодость!” — ходит с авоськой и продаёт. Из уцелевших учреждений самый верный прибиток дают клуб и сельсовет, да Пузырёк ещё и скостит десятку в сравнении с городским рынком. Сто тридцать за кило! Домой только через магазин... Шпана, бывает, скучкуется к ночи, пройдёт с саночками сверху вниз, и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые следует засыпать снегом. Пузырёк на другой день патрулирует по посёлку, гоняется за воришками:

— Да я же вас вычислил по следам!

Зимой Пузырёк не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает капканы на соболя — штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на её конце площадку под капкан, который привязывает к наклонённому перевесу — гибкой деревинке, укреплённой выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании попавшегося зверька капкан соскальзывает со стопора и деревинка, перевесившись тяжёлым комлем, другим концом, а именно лёгкой вершиной, вздёргивает добычу, делая её недоступной для мышей и лис. В качестве приманки Пузырёк, не мудрствуя лукаво, гвоздём на сто пятьдесят прибывает к жерди обрывок дохлой курицы. И, судя по всему, ничего не ловит, но виду не подаёт. Так, возвращаясь из леса — румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша бахил точится, как жучок под корою валежины, а Пузырёк, если он в это время на реке, обязательно подождёт, детально осмотрит с ног до головы, главным образом сосредоточась на брезентовом рюкзаке с заскорузлыми от смёрзшегося пота лямками и объём которого может послужить Пузырьку при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит:

— Ну, откуда идёшь?! Чё несёшь?!

И подробно: сколько капканов, сколько соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей и, вообще, резонно ли ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который опёрся на черенок пещни и курит, скашливая на снег, всё закипит в тебе, и уже обложишь себя за то, что не перешёл Лену в другом месте, а Пузырька — за то, что стоит, сломав лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно снял с крючка и спрятал, рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы нигде не выпирало и выглядел совершенно пустым, все улики уничтожил — кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и лезвие складного ножа вытер о ружник. И вот это, что подготовился, а тебе уже свернуть нельзя, изолпит

в край! И уже зарядишь тяжёлый крупный мат, чтобы с честью ответить любопытному Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело ту же и выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина: сейчас его убьёт наповал, а он и не знает! Но лишь только Пузырёк заговорит — и всё в тебе словно ветром задует, хотя ничего особенного в речи Пузырька нет, а, однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанного, то, о чём тебя никто не спрашивал.

Пузырёк, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и не моргнув глазом соврёт:

— Я-то тоже задавил в ельнике трёх! Сра-а-азу!

Намекает, что в трёх из шести поставленных с грехом капкамов при первом же обходе оказались соболя.

Или начнёт вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Ну, шёл так один раз, добыл два десятка белок и соболя, каких теперь нету, а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да здоровенного, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло, тут же освежевал; шею, грудинку и сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворённый на скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. Назавтра вернулся с саночками — ни кровинки, ни шерстинки...

— Сука у меня текла, а за ней по следу шли от посёлка девять кобелей! Ка-ак я не знал?! Только потом вычислил... — Пузырёк отсекает рукой: — Всё-ё подобр-р-рали! Даже снег до земли слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил...

Вежливо — чтоб не оскорбить взаимной симпатии — просветишь потёмки Пузырьковой души наводящими вопросами, ещё раз убедисься, что врёт, и сам сменишь пластинку. Посетуешь, например, что нынче капкамыто запретили, аж из самой столицы бумага пришла — так это он пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька — две небрежно обструганные доски с едва задранными носками. И Пузырёк, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, дикие и лохматые:

— Из чего сделал?

— Из ёлки.

— Кла-а-асные!

Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырёк и о своих скороходах, и когда ему напомним, что раньше он прятал лыжи возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырёк позволит себе необходимое уточнение:

— Дак это старые были, чуть ли не мои погодки! Ещё батя ходил! А эти-то?! — И тогда догадывайся, что, зарой Пузырёк новые лыжи в снег — всю округу вдоль и поперёк проскребнут граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте — никто не тронет, разве что какой-нибудь полоротый, проезжая на “Белорусе”, зачекерует и утащит на дрова...

Но лес лесом, а Пузырёк, прежде всего, жив рекой.

Во всём, что касается рыбалки, в особенности подлёдного лова налимов, он придерживается неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти старики мало кому памятливы. Пузырёк не преминет, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь свою удю слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же дыхании, с каким минутой ранее снял верхонки и развернул на морозе карамельку:

— Чё-то границу не соблюдаешь! Соблюдай-ка!

Или повадится ловиться мелюзга, жалко на такую изводить живцов, все ходят от уды к уде, как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чём причина, и только Пузырёк знает секрет:

— Такая ерунда раз в семь или шесть лет случается! Я уж давно заметил. Она, мелочовка-то, или спускается сверху, или, наоборот, подымается, большие налимы ни хрена не успевают! Большой только-только подойдёт,

а этот п..дёнш уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то всё равно надо, чё поделашь...

Пузырёк, атакующий Лену со дня образования заберегов и убиравший крючки незадолго до ледохода — все давным-давно закрутились, и вдоль берега синели отволглшие старые лунки с чернеющими штрихами вешек попереёк, — только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с реки под вечер 31 декабря и образуясь на ней снова и так же порывисто, как и пропал, уже после Рождественских колядок, когда всё пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, вдобавок и “про.бёно”. Но это уже не тот Пузырёк, что был до Нового года, а результат его кустарной реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выскребла мужа из-под стола, отряхнула, раз и другой стукнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы — и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведённой, катился прямо и беспечально до самой матушки Лены. И вот уже, не прошло и полгода, Пузырёк опять на реке! Бродит от лунки к лунке, худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с пешней и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной, чем-то заляпанной в связи с последними событиями, аляске со светящейся в темноте наклейкой “ВЧНГ”, что есть “Верхнечонское нефтегазорудение”. Сию справу Пузырёк приобрёл у вахтовых мужиков, когда шуровал им налимов.

За полмесяца, что медведь находился в рабочем отпуске, лунки промёрзли насквозь, и пешни уже не хватает. Пузырёк, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырёк неистово молится. Пока выстеклит одну лунку, не раз размажет по лицу горсть шершавого снега. Но уж когда пешня прорвётся в пустоту, потянув всего, а в лунку брызнет вода и вешка отколетс с ледяной перемычкой, то Пузырёк, обливаясь потом, с похмельным причетом: “Ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох!” — отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адового возвращения, медленно возденет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет на лёд мёртвого, размытого, как банное мыло, налива с белым брюхом: налима, вопреки известному мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тутого от икры и печени. Вызволять из протухших рыб крючки Пузырёк считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо отшвырнуть налима лопатой, с затаённым дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь облеваться. Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплён голян, и в ушке, к которому привязана нитка, и для повторного пользования всё равно не годится. И хотя ни крючок, ни тем более дохлый налим ни к чему, замороженную снасть Пузырёк ни за что не бросит, будет клевать до победного, пока не восстановит все свои уды, словно колья, которыми сам себя подпирает. Вешек же у Пузырька — только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!

...И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырёк сидит на моей лыжне, сдвинув шапку на затылок, и по своему обыкновению курит, только уже не сигареты, которым вышел расход, а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, ещё больше зачерневшее лицо. Глаза голубы. Но голубизна эта такая — не сплошь, а мазками, вроде сливок с раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит — весь...

То да сё.

Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми словами воздух. До самых пальцев сосёт самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не дослушав твоё, тут же — попереёк! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или блудил в пургу по тайге, ломая за собой веточки, а там, глядь, чья-то лыжня, собачий лай и дымный вихрь за деревьями. Откровение души — вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: сверху ноч-

ной ледок, а под ним — а ну-ка! Нырнёшь с макушкой, да ещё и дна не проскребёшь. Одна ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь...

— В сеть-то чё попадат, нет?! — раскуривая новую самокрутку, заливи-стым криком допытывается Пузырёк, и весь он сейчас в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда ломается голос, и вдруг то пискнешь, то забасишь. — Чё-ё-ё молчишь?!

Сети ставят по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну — основную и большую прорубь, через которую потом выматывают сеть, — дальше с заданным отступом ноздрят лунки поменьше, так что последняя будет там, куда придётся конец сети. Затем в майну просовывают длинную гибкую жердинку с привязанной верёвкой, равной длине сети плюс необходимый запас, и, будто стёжки ведут, время от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают конечной проруби, поддевают жердинку за кончик и вынимают. Всё, верёвка пронизана от майны до противоположной проруби. Потом, потягивая за верёвку, стравливают сеть под лёд...

Работа нехитрая, руки помнят её с детства, так что закрой глаза перед сотней других работ — руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же и припозднился, вышел на промёрзший лёд. Да ещё, как назло, скрала напасть: то лёд двойной, то блуждающие обломки торосов, а то в спешке не размотаешь и упустишь вместе с мотовильцем уже проташенную верёвочку. В довершение ко всему, вероятно, чтоб уж совсем доконать, хрястнул черенок пшени! Тут ещё Пузырёк, действуя согласно выработанному плану, то и дело поднимался из-за горки откиданного из проруби льда, словно из-за нарытой рядом с норкой земли, и застывал любопытным сусликом, с беспокойством контролируя мои перемещения и душевно желая, чтоб наступила какая-нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то ещё подуло и принесло с другого берега Лены самую суть совершающихся там событий, о чём спросить открыто, крикнув, например: “Ты чё там опять выдумывашь?!” — он не решался ввиду чрезмерности расстояния, а я всё время молчал, стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, зная которые обидчивому Пузырьку было ни к чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому и, разумеется, разрушительному влиянию соседа.

Ну, с грехом пополам управился, однако с того дня на всякий случай решил обходить Пузырька за километр. Пузырёк, напротив, искал встречи, но найти не мог.

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть в Сибири если не верная и не мгновенная удача, то её бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемалывает всё: и пот, и мороз, и незадачи, и само долгое и часто напрасное ожидание. Однако удача удачей, а пойманная рыба для северной деревни значит всё ещё много. Поэтому иные, такие, как Пузырёк, наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но как не из жадности, а единственно из-за языческой боязни сглаза сторожат своё ремесло, буквально, например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумает ленок, так и выслеживают других вовсе не за тем, чтобы спугнуть фарт, а опять же с одной лишь надеждой — пополнить собственный ларец ещё одним бесценным знанием, отложив его в голове поверх других, как в несколько слоёв солят рыбу...

И вот Пузырёк дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочёвка, из которой рыба только двухсотграммовый хариус.

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную.

— Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельдовку, — и тоже ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток — на 60 или 70, я уж забыл! — сра-а-зу смогали кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят...

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:

— Поставь-поставь, дело тебе говорю!

И, глядя прямо в глаза, дразняще смеётся, только отомкнутый рот и видеть, а в нём — белый с похмелья шмат языка:

— Я-то, как ты, не выёживался, прорубь продолбил — и всё!

— Как это?! — всё поднимается торчком, и главным образом — прозвища Пузырька.

— А вот так! Кинул бутылку — и готово!

Вымотать душу из северянина всё равно, что из проруби сеть: то же нарастание кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят ещё незримой рыбиной. Но когда вымотаешь — что же? Окажется, что этот некорыстный русский мужичок, мимо которого пройдёшь и не заметишь, ведёт вот какую политику: выдолбит майну на умеренном течении, таком, чтоб не “ложило” снасть, бросит в прорубь налитую водой пластиковую бутылку, привязанную к концу сети...

— Не забудь второй конец зарочить! — давится, не может ни проглотить, ни отхаркнуть, как будто навязло на языке. — А то у меня так одну сеть утаргало!

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.

— Как ракета полетит! — отметаёт Пузырёк.

И, внезапно осекшись, переводит взгляд на едва початый ряд нераздолбленных лунок. Глаза, между тем, всё ещё сверкают, но уже так, как бывает на кончиках маргзовских сосуллек, когда весь день текло, а под вечер, вместе с приморозом, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо над тобой дрожат живые капли.

— Видишь, какая у тебя удача?! — качает головой, словно хочет стряхнуть эти капли на снег, уверить всех и самому увериться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. — Наверное, и спать не будешь!

— Уд-то у тебя ещё много? — спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от этой “удачи”, избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя всю лживость своего якобы “сострадания” к чужой судьбе.

— Ой, и не говори! — вздыхает почти мученически. — Да я выдолблю все, мне один хрен делать нечего... — И, поковыряв носками бахил, сует ноги в стоптанные строяные ремни, подхватывает пенишу и лопату и идёт, отступаясь на своих косопалых лыжах и тихо матерясь...

И ты, словно расщеплённый молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой отныне и до конца больно за всё, что творится под этим небом, — внезапно очухиваешься этой первой половиной и, срачивая её со второй, даже не вспоминаешь, потому что никогда не помнил этого, а как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разрядом, что это никакой не Пузырёк был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а дядя Витя, бывший совхозный механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто тыкаешь. Нынче ему на пенсию — и слава Богу, потому что последние пятнадцать-двадцать лет сводит концы с концами, ходит в старом и заплатавшем, частенько отвязывается и, окликная в дороге, униженно клянчит: “Займи на пузырёк!” — а когда отказывают или даже прогоняют, отстаёт и плетётся позади с таким видом, как будто не дали со стола красное яблочко. Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоём мнимом добре разных примесей, нужных, в первую очередь, тебе; да и даёшь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, возводя на этом некую народолобную философию, благоприятствующую опять же только тебе, между тем как самому народу от неё ни холодно, ни жарко; да и, сказать по совести, не сделал ты ничего для этого народа, помимо того что скрепя сердце потрясе копилку и выручил одного-единственного страждущего, и когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое своё, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от тебя, не спросясь, не нагрузил свой поступок каким-то



выгодным только ему образом мыслей и поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своём роде и цельное, как монолит, своё отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, братцы, “чисто случайно” отыскалось, чем помочь.

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлёбывающимся, перебивающим самого себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поёт и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди.

И когда ты обо всём этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слёз не видно, ты вдруг, ещё сам не зная за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, завтра дядя Витя раскается в излишнем откровении и опять надолго засунет душу в верхонку, но этот миг расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке.